

ЭЙГОЛОГИЯ

★ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ ★

Времена меняются, эйги — нет

Сборник лёгких рассказов

Эйги?
Конечно,
милый!

ЭЙГИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ —
СМЕЯТЬСЯ. МЕНЯТЬСЯ. ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ.
— ЭЙГ

Марина Киреника

Марина Киреника

**Эйгология. Альтернативная
история. Сборник
лёгких рассказов**

«Автор»

2026

Киреника М.

Эйгология. Альтернативная история. Сборник лёгких рассказов /
М. Киреника — «Автор», 2026

Вы точно уже встречали этих людей. Того, кто отвечает только если спросить трижды и в лоб — а если не спросить, промолчит хоть до Пасхи. Ту, что влюбляется со скоростью света и гаснет с той же скоростью. Того, кто входит в комнату — и комната уже принадлежит ему, хотя дверью он даже не хлопнул. Вы их узнавали всю жизнь. Просто не было слова. Перед вами сборник лёгких, ироничных историй, где Венеция хранит тайны под маской, Аристотель безуспешно вразумляет упрямого мальчишку по имени Александр, О.Генри подмигивает из-за океана, а один банальный сбой алгоритма влюбляет двух людей вопреки всем расчётам великого сервиса знакомств. Ни одной скучной страницы, ни грамма занудства — только хороший стиль, острый юмор и то самое чувство «это же про меня», ради которого вообще стоит читать вечером после длинного дня. Пока никакой эйгологии знать не нужно. Достаточно один раз узнать себя в одном из героев — а дальше вы уже не остановитесь.

© Киреника М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора: одна книга, три двери	5
1. Антоновка	6
2. Призрак с моста Вздохов	9
3. Сад нимф	13
4. Два блеска одного утра	17
5.	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Марина Киреника

Эйгология. Альтернативная история. Сборник лёгких рассказов

От автора: одна книга, три двери

Возможно, вы уже поняли: перед вами не совсем обычный сборник. Здесь Аристотель спорит с учеником по имени Александр, О'Генри подмигивает из-за океана, а девушка бежит через два квартала спросить у соседки-провидицы, что означают мурашки по спине. Всё это происходит в одном мире — просто в разных пространствах и временах.

Дело в том, что я предлагаю вам маленькую игру в допущения: **а что, если знание о подлинной человеческой природе — не новомодное изобретение, а то, что существовало всегда?** Просто в одну эпоху оно называлось иначе, в другую пряталось в тени гороскопов и модных типологий, а где-то ещё только начинает завоёвывать своё место под солнцем.

Мы называем это эйгологией — знанием о врождённой природе человека, о его энерготипе, о том, что заставляет одного молчать, пока его не спросят трижды, а другого — идти напролом, даже если весь мир советует иначе.

Рассказы в этой книге идут подряд, но принадлежат к трём разным направлениям, и в начале каждой главы я буду честно об этом предупреждать:

Альтернативная история — эйгология здесь давно и открыто вплетена в быт, будь то Древняя Греция, Венеция под масками или Версаль с его веерами. Здесь можно улыбаться, узнавая вечное в костюмах прошлого.

Литературная история — здесь я позволяю себе откровенную дерзость: говорить голосом любимых мастеров о том, что они, возможно, чувствовали, но не называли. Ватсон? Скинанди, разумеется. А как иначе объяснить Мориарти, если он не был Рюг?

Современная история — здесь эйгология ещё не стала общим местом. Одни уже знают, другие только начинают догадываться, третьи вовсе спорят и сомневаются. Возможно, вы узнаете здесь себя — я, признаться, на это рассчитываю, и что говорить — практически уверена.

Читайте по порядку или скачите между главами — это ваша книга, ваше право. Обещаю одно: лёгкость, юмор и, время от времени, то самое чувство «это же про меня», ради которого вообще стоит читать перед сном.

Ваша, Марина Киреника

1. Антоновка



Современная история о том, что эйгология работает, знают о ней или нет.

Бабушка Зоя умерла в августе, в яблочный год.

Антоновки уродилось столько, что ветки подпирали рогатинами, и на девятый день весь дом стоял пропахший ею — не поминками, а яблоком.

Я знала эту семью лет тридцать, с тех пор как мы с Зоей Петровной делили межу и рецепт наливки, так что видела всё, о чём расскажу, своими глазами. А рассказать стоит, потому что история эта — не про дом. Про дом она только с виду.

Наследников осталось двое, внуки. Оля и Марк.

Оля приехала первой и первым делом вымыла бабушкины чашки. Не разобрала, не пересчитала — вымыла и поставила на место, каждую на свой круг, протёртый в буфетной полке за сорок лет. Потом завела часы. Потом нашла в сенях рассохшуюся табуретку, на которой Зоя Петровна ставила таз с вареньем, и весь вечер клеивала в неё шканты. Табуретке было лет шестьдесят, и проще было купить новую. «Проще, — согласилась Оля, не поднимая головы. — Только на новой она варенье не варила».

Марк приехал через день, обошёл дом кругом, задрал голову, посвистел. К вечеру у него был исписан блокнот: где просела балка, где гниёт венец, сколько стоит поднять крышу и что будет, если веранду разобрать, а на её месте поставить светлую мастерскую в два окна на юг. Глаза у него горели.

Он сел на ту самую табуретку — Оля охнула, — и табуретка, между прочим, выдержала. «Дом хороший, — сказал Марк. — Из него можно сделать отличный дом».

Вот тут-то всё и началось.

— Из него не надо ничего "делать*" — сказала Оля тихо.

Она всегда говорит тихо, когда всерьёз. — Он уже есть.

— Он уже "был", — сказал Марк. — Крыша течёт, венец гнилой. Если его не трогать, через десять лет он ляжет. Ты этого хочешь?

— Я хочу, чтобы пахло так, как сейчас.

— А я хочу, чтобы здесь можно было жить. Жить, Оля, а не хранить.

Они не кричали. В этой семье вообще не кричат, у них порода такая — ссориться вежливо, отчего только страшнее. Оля назвала Марка про себя — а потом и вслух — человеком без сердца, которому дай волю, он и бабушкину грядку закатает под парковку.

Марк назвал Олю смотрительницей музея, в котором один экспонат — прошлое, и посетителей не бывает. Оба, надо сказать, были несправедливы. И оба — точны.

Потому что я-то видела другое.

Я видела, как Оля в свои тридцать пять варит варенье в медном тазу — не потому, что вкуснее, а потому что в этом тазу его варили до неё, и пока таз на огне, ниточка не порвана. Как она помнит, чей это платок, чья фотография, чей почерк на полях «Науки и жизни» за семьдесят восьмой год. Она держит. Она из тех, кто держит, — и мир, между прочим, не разваливается во многом потому, что такие, как она, его держат. Тихо, даром, не ожидая спасибо.

И я видела, как у Марка загораются глаза не на деньги — на "возможность". Он не дом хотел перестроить, он хотел, чтобы вместо умирающего стало живое. Он всю жизнь такой: в школе разбирал приёмники, которые работали, — чтобы понять и собрать лучше. Мать хваталась за сердце. А он собирал — и они играли чище прежнего. Такие, как Марк, не умеют беречь то, что есть. Зато умеют другое: они превращают. Сожгут полено — но в доме станет тепло. И мир, между прочим, движется вперёд во многом потому, что такие, как он, не могут оставить его как есть.

Дом они в итоге продали.

Знаю, вы ждали, что они помирятся и Марк построит Оле веранду, — в кино так и было бы. В жизни вышло иначе и, пожалуй, честнее.

Оля увезла в свою городскую квартиру буфет, часы и медный таз — и в августе у неё пахнет антоновкой так, что соседи спрашивают рецепт. Марк на свою долю снял помещение и открыл мастерскую — ту самую, в два окна на юг, только в другом месте.

Заходила к нему прошлой зимой: светло, стружкой пахнет, и на стене — бабушкина рога-тина, которой подпирали яблоню. «Это зачем?» — спрашиваю. Усмехнулся: «Чтоб помнить, откуда я такой».

А в доме живёт молодая семья. Крышу они подняли. Варенье варят своё, из белого налива. Жизнь, как ей и положено, продолжилась.

Теперь — то, ради чего я всё это рассказала. Кто из них прав, Оля или Марк? Вопрос этот того же сорта — «что лучше — день или ночь»? Есть люди, устроенные для того, чтобы **сохранять**: беречь, чинить, помнить, держать нить. И есть люди, устроенные для того, чтобы **превращать**: разбирать, менять, сжигать полено ради тепла, делать из бывшего — будущее.

Первых в называют светлыми, вторых — тёмными, и слова эти — не про добро и зло, что бы ни подсказывал вам язык. **Ночь не злее дня. Просто у ночи другая работа.**

Беда не в том, что человек тёмный или светлый. Беда — когда он про себя этого не знает и всю жизнь мучается: хранитель кроит себя под преобразователя и виснет на полдороге, преобразователь стыдится своего огня и гасит его до тления. Оба несчастны, и оба — зря.

Если вы, читая про Олю, узнали себя — или, читая про Марка, выдохнули с облегчением «так это нормально?» — то да. Это нормально. Это даже имеет название, и об этом есть целое знание, но о нём — в другой раз. Пока просто спросите себя вечером, без свидетелей: я — держу или превращаю?

Только, чур, не отвечайте так, как вам хотелось бы. Отвечайте так, как есть.

2. Призрак с моста Вздохов



Венеция, 1748. Альтернативная история — та, в которой эйгологию знали всегда.

В Венеции в тот февраль объявился призрак, и город отнёсся к этому с раздражением человека, которому среди ночи стучат в ставню.

Не потому, что венецианцы не верят в призраков — верят, ещё как, у синьоры Больдрин на Кампо Санта-Маргарита прабабка до сих пор является по четвергам и указывает, где в доме плохо вымыто. А потому, что этот вёл себя неприлично.

Он появлялся на мосту Вздохов между полуночью и двумя, в белом, без лица, и **молчал**. Вот это и было возмутительно.

— Молчит, — говорила зеленщица Роза, отпуская кому-то фенхель. — Третью неделю молчит. Ну что это такое, я вас спрашиваю?

— А ты чего хотела, — отвечала ей соседка. — Он же Форнт. Форнт и при жизни рта не раскроет, пока не спросишь. А тут — покойник. Кто ж покойника-то спрашивать полезет?

— Так и что теперь, до Пасхи ему там стоять?

— А вот и до Пасхи. Из упрямства. Они такие.

Так на четвёртый день весь приход уже знал, что призрак — Форнт, и обсуждать стало нечего. Обсуждали другое: чей именно. Сходились на молодом Дзордзи, утонувшем в ноябре, — тот тоже, царствие ему небесное, слова из себя не выдавливал, пока трижды не спросишь, зато уж если спросишь, скажет так, что месяц не спишь.

Дело поручили Реньеру.

Комиссарио Дарио Реньеру был Софнун, и весь квартал знал об этом ещё до того, как узнал его имя, — по тому, как он ходил (не спеша), как ел (основательно) и как относился к бумагам (свято). Мать его была Софнун, отец Софнун, дед по матери — и тот Софнун, отчего в семье шесть поколений подряд ничего интересного не происходило, чем все страшно гордились.

— Призраки не по моей части, — сказал Реньеру сразу.

— По твоей, по твоей, — сказал старший, синьор Контарини. — Он на казённом мосту стоит. Мост — имущество Республики. Значит, порядок на нём — твоё дело.

Против такого аргумента Софнун беззащитен, и Реньеру пошёл на мост.

Он взял с собой двоих.

Первым — сержанта Бенвенуто Пазини, Бьёргунарма, потому что если призрака придётся хватать, то хватать будет Пазини, а не он. Бьёргунармов в страже держали именно для этого: они прыгают в воду прежде, чем успевают подумать, стоит ли, — и вытаскивают. Правда, потом три часа рассказывают об этом всем встречным, включая вытаскленного, но это уж цена.

Вторым — писца Лоренцо, Глазилегюра, потому что протокол должен был выглядеть красиво, а Лоренцо умел выводить буквы так, что сам дож однажды залюбовался и не заметил, что в бумаге написана чепуха.

— Только не начинай про свет фонаря на воде, — предупредил Реньеру по дороге.

— Комиссарио, но он же правда лежит на воде, как расплавленное серебро...

— Лоренцо.

— Молчу.

Он не молчал, конечно. Всю дорогу до моста он говорил о том, как хороша была бы гравюра «Ночная стража на мосту Вздохов», особенно если бы он, Лоренцо, стоял чуть впереди, а фонарь держал бы кто-нибудь другой, потому что фонарь портит линию плеча.

Пазини на это сказал, что если призрак окажется настоящим, он его лично утопит второй раз, и пусть тогда рисуют.

Призрак явился ровно в полночь, как порядочный.

Белая фигура возникла в середине моста, там, где камень уже двести лет сырой, и встала. Туман был такой, что фонарь освещал только сам себя. Где-то внизу вода трогала камень с тем звуком, с каким пробуют, не проснулся ли ты.

Реньеру достал бумагу.

— Именем Республики, — сказал он громко. — Имя, сословие, эйг.

Призрак молчал.

— Я же говорил, — прошептал Лоренцо восхищённо. — Форнт. Вы бы спросили его о чём-нибудь, комиссарио. Спросить надо, иначе не заговорит.

— Я и спросил.

— Вы не спросили, вы потребовали. Форнты не отвечают на «именем Республики», они отвечают только на настоящий вопрос. Это же всякий знает.

Реньеру вздохнул. Он не любил, когда чьи-то тонкие натуры мешали ведению дела, но правила есть правила — а порядок обращения с каждым эйгом входил в «Наставление для служащих Республики», раздел четвёртый, который Реньеру знал наизусть, потому что был Софнун и потому что наставление было напечатано.

— Хорошо, — сказал он, убирая бумагу. — Синьор. Скажите, чего вам не хватает?

Туман шевельнулся.

И призрак — молча, медленно — поднял руку и указал вниз, на воду.

— Вот! — задохнулся Лоренцо. — Знак! Тайна! Утопленник! Комиссарио, тут преступление, тут страсть, тут...

Пазини уже снимал сапоги.

— Стой, — сказал Реньеру. — Пазини, стой. Никто никуда не прыгает.

— Он же указал!

— Он указал вниз. Вниз — это не всегда труп. — Реньеру наклонился через парапет и посмотрел туда, куда указывала белая рука.

Внизу, у самой воды, из стены торчал железный крюк, к которому в прежние годы швартовали лодки, а теперь не швартовали, потому что канал обмелел и лодки сюда не ходили.

На крюке висел мешок.

Мешок вытащили. Он был совсем небольшой, промокший, и в нём оказались: две серебряные ложки, женское кольцо без камня, распятие, детский башмачок и связка писем, слипшихся в один ком.

И медальон с портретом — женское лицо, очень серьёзное.

Реньеру перебирал вещи медленно, по одной, раскладывая их на парапете в ряд, как раскладывал всегда всё, что нужно понять. Пазини светил. Лоренцо, к его чести, впервые за вечер не сказал ни слова.

— Это не клад, — сказал наконец Реньеру. — Это приданое.

— Приданое? — не понял Пазини.

— Небогатое приданое небогатой семьи. Такое собирают годами и хранят завёрнутым. — Он поднял детский башмачок, посмотрел на свет. — А это кладут сверху на счастье.

— И его украли?

— Его спрятали. — Реньеру повернулся к белой фигуре, которая всё так же стояла и всё так же молчала. — Спрятали в ноябре, когда в городе стояли австрийцы и шёл обыск по всем домам квартала. Спрятали на крюк, под воду, где никто не станет искать. А потом человек, который прятал, утонул. В ноябре. Здесь.

Туман качнулся.

— И три недели, — сказал Реньеру, — он приходит сюда каждую ночь. Не мстить. Не пугать. А показать семье, где лежат их ложки.

Он помолчал.

— И, как всякий Форнт, ждёт, пока его наконец спросят по-человечески.

Приданое вернули вдове Дзордзи на следующее утро. Она сначала не поверила, потом села на пол в прихожей и заплакала, потом принялась ругать покойного мужа последними словами за то, что он, дубина упрямая, не мог просто сказать, куда положил, — а потом снова заплакала.

— Он и живой такой был, — говорила она, вытирая лицо. — Спросишь его — молчит. Не спросишь — тем более молчит. Я его двадцать два года допрашивала, как инквизиция. И ведь всё же в нём было! Всё знал, всё видел, а вытащить — клещами.

— Мои соболезнования, синьора, — сказал Реньеру.

— А, — она махнула рукой. — Что уж теперь. Хоть ложки нашлись.

Призрак на мосту Вздохов больше не появлялся.

Отчёт Реньеру писал в тот же день, обстоятельно, в двух экземплярах, как положено. В графе «Причина явления» он вывел: *«Неоконченное дело хозяйственного свойства»*, — и остался этой формулировкой очень доволен.

Лоренцо, переписывая набело, украдкой добавил завиток к букве «В» в слове «Вздохов» и подумал, что из всего этого вышла бы дивная гравюра: туман, фонарь, белая фигура, — и он, Лоренцо, чуть впереди, с пером в руке.

А Пазини по дороге домой зашёл в остерию и рассказал, как самолично раскрыл дело о призраке, и как призрак хотел на него броситься, но не решился.

Что до Реньеру — он в тот вечер долго сидел над своим отчётом и думал одну спокойную мысль, ту самую, которую венецианцы знают с колыбели и потому никогда не проговаривают вслух.

Что и мёртвым не сделаться никем другим.

Что упрямец останется упрямым, красавец — красавцем, спасатель ползет в воду и на том свете. Что человек — не то, что он говорит о себе, и даже не то, что он делает; человек — это то, каким он окажется, когда всё остальное с него уже снято, включая, между прочим, жизнь.

Мысль эта показалась ему слишком высокой для служебного человека, и он выбросил её из головы.

А потом всё-таки приписал внизу отчёта, мелко, для себя:

«Форнт. Иначе бы догадались раньше».

3. Сад нимф



Македония, 343 год до Р.Х. Альтернативная история — та, в которой эйгологию знали всегда.

Философ не любил, когда его прерывали на середине мысли, и ученики об этом знали — знали настолько твёрдо, что мальчик, который всё-таки его прервал в то утро, сделал это не

по незнанию, а по расчёту: перебить наставника было единственным способом заставить его посмотреть на тебя.

— Учитель, а если добродетель — середина между избытком и недостатком, то где середина между трусостью и безрассудством у того, кто ничего не боится вовсе?

Философ остановился так резко, что двое отставших едва не налетели на него сзади. Он обернулся — и в глазах у него было то, что ученики между собой называли «грозой», а вслух не называли никак, потому что называть вслух означало навлечь.

— У того, кто ничего не боится вовсе, — сказал он медленно, — нет добродетели. Есть болезнь, которую невежды по недоразумению принимают за силу.

Мальчик выдержал взгляд. Это тоже было не в первый раз.

Философ фыркнул, отвернулся и пошёл дальше по тропе вдоль моря, к священной роще, где под сенью старых олив стояли каменные скамьи и алтарь нимфам — сюда его перевезли учить троих царских питомцев подальше от столицы, от дворцовых интриг, от людей, которых он мысленно называл «ненужными» и в общество которых не соглашался выходить месяцами, если мог этого избежать.

Он и сейчас предпочёл бы одиночество. Свиток, тишину, письменный стол, заваленный табличками с записями о повадках морских ежей и полёте цапель. Но царь Филипп прислал за ним не для того, чтобы он молчал в одиночестве, а для того, чтобы он говорил с тремя мальчиками, один из которых когда-нибудь наденет диадему, — и с этим приходилось смиряться, как смиряются с погодой.

Учеников было трое: тихий, задумчивый мальчик по прозвищу Птолемей, за то что вечно записывал за учителем слово в слово; крепкий, весёлый Гефестион, лучший друг того, о ком пойдёт речь; и третий.

Третьего философ наблюдал дольше всех — не потому что любил его больше (философ вообще с трудом признавался себе, кого он «любит»), а потому что не мог перестать делать выводы. Это была его слабость и его дар одновременно: стоило ему увидеть человека дважды, и рука уже тянулась к табличке — записать, разложить по полочкам, понять закон, по которому этот человек устроен.

О третьем он писал больше всего.

«Не боится боли — ни своей, ни чужой, — записывал философ вечерами при масляной лампе. — Обучается стремительно, но лишь тому, что можно применить немедленно; история для него интересна только как образец для подражания, не как предмет созерцания. Плачет, читая о подвигах чужих царей, — не от жалости, а от зависти к тому, что подвиг уже совершён не им. Спит мало. Ест мало. Хочет много — всего, сразу, немедленно».

Однажды он застал мальчика в конюшне — тот в одиночку пытался укротить коня, которого никто во дворце обуздать не смог, и все взрослые конюхи стояли поодаль с побелевшими лицами, ожидая, когда наследника растопчут. Мальчик заметил, что конь боится собственной тени, бегущей впереди него по земле, — и одним движением развернул его мордой к солнцу. Конь замер. Через минуту на нём уже сидели.

Философ смотрел на это, ничего не говоря, а вечером записал: *«Видит то, чего не видят другие, — не потому что умнее, а потому что смотрит туда, куда никто не догадался посмотреть. Это опасный дар. Тот, кто умеет разворачивать чужой страх лицом к свету, рано или поздно решит, что умеет разворачивать и людей».*

На уроках мальчик слушал жадно — но слышал только то, что хотел услышать.

— Умеренность, — говорил философ, — не слабость, а высшее из искусств. Ахилл был велик, но погиб от пятки — от единственного места, которое посчитал неуязвимым и потому не защитил. Величие без границы себе — это не величие, а отсроченная гибель.

— А если человек велик настолько, что ему не нужны границы? — спросил мальчик.

— Значит, он ещё не встретил своей пятки. Все её встречают.

Мальчик кивнул тогда — вежливо, внимательно, как кивают наставнику, которого уважают. Философ, глядя на этот кивок, ощутил то самое чувство, которое посещало его чаще, чем ему хотелось бы за всю его жизнь: чувство человека, чьи слова услышаны ушами, но не приняты сердцем. Он привык к этому. Не примирился — привык, что разница.

Он не знал тогда — а может, знал, и потому записывал так много, — что предупреждение об Ахилловой пятке этот мальчик запомнит слово в слово и повторит через много лет своим полководцам у стен далёкого города, красиво, к месту, убедительно. И что сам он в это время будет уже вести войско туда, куда ни один человек до него не заводил армию, не оставив никому места усомниться в собственной неуязвимости.

Услышанное и понятное — не всегда одно и то же. Это философ знал про себя лучше, чем про кого-либо: сколько раз он сам говорил людям правду и видел на их лицах то же вежливое, внимательное непонимание, которое видел сейчас на лице мальчика. Быть Форнтом означало это тоже — говорить то, что знаешь наверняка, и почти никогда не быть услышанным вовремя.

Шли месяцы. Роща нимф зазеленела, потом пожелтела, потом снова зазеленела. Философ писал свои таблички, спорил с царскими советниками, которых на дух не переносил, и по три дня кряду не выходил из своих покоев, потому что общество придворных было ему тяжелее любого физического труда — а работа с табличками и мыслями, наоборот, единственным отдыхом.

Однажды на рассвете, когда философ и трое его учеников шли обычной тропой к роще, со стороны дороги показался всадник в пыли — гонец от царя, загнавший коня почти до смерти.

Гонец спешился, упал на колени — не перед философом.

— Александр, — сказал он, задыхаясь, — сын Филиппа. Царь зовёт тебя. Персы разбиты у Херонеи, южные города сдаются один за другим. Отец хочет, чтобы ты стоял рядом с ним, когда Афины пришлют послов просить мира.

Философ стоял чуть в стороне и смотрел, как мальчик — тот самый, с табличек, тот самый, что развернул коня лицом к солнцу, тот самый, что слушал про Ахиллову пятку и кивал, не слыша, — выпрямился, будто вырос на голову за одно мгновение, и его лицо на миг стало лицом не ученика, а того, кем он станет.

— Скажи отцу, что я иду, — ответил Александр.

Он ушёл вслед за гонцом, не оглянувшись на рощу, где провёл три года своего детства, — так уходят от того, что уже стало малю.

Философ ещё долго стоял среди олив, глядя ему вслед. Потом достал табличку и написал последнюю строку в досье, которое вёл три года:

«Александр, сын Филиппа. Позже, я думаю, его назовут иначе — по земле, которую он превзойдёт. Записан весь, кроме одного: сумеет ли он когда-нибудь остановиться сам, без чужой руки на поводьях. Ответа на это у меня нет, и, боюсь, у него самого — тоже».

Он не ошибся ни в одном слове. Только вот прочесть эту табличку было уже некому: даже Форнта, оказывается, слышат не всегда — иногда его слышит только время, много позже, и то не наверняка.

Философ знал себя Форнтом с того дня, как впервые смог себя назвать, — и знал это о себе так же твёрдо, как собственное имя.

Мальчика, что ушёл не оглянувшись, во дворце его звали Фрейстанди задолго до этого утра — так его называли ещё в колыбели, едва распознав в младенческом упрямстве чертёж совершенства, который взрослым только предстояло увидеть целиком.

Тот чертёж совершенства, приложенный не к мрамору и не к бронзе, а к целому миру, который он перекроит по своей мерке, не спросив, хочет ли мир того же. Не хватало ему одного — того имени, что дают не при рождении, а по итогу: Великий.

Эйг достаётся сразу. Величие — потом, и не каждому. Один не умел остановиться в наблюдении. Другой не умел остановиться вовсе.

Философ в этом рассказе не назван по имени намеренно — вы узнаете его раньше, чем я его назову.

4. Два блеска одного утра



Провинция Иль-де-Франс, 1668. Альтернативная история — та, в которой эйгологию знали всегда. Стиль — фривольный, эпохи барокко, автор просит не искать в нём порядка, коего сам избегал сознательно.

Начнём с возмутительного факта, ибо начинать с приятного — привычка людей, у которых, по счастью, нет истории, достойной рассказа.

В то утро, когда графиня Дельфина де Курсийон явилась на свет в парадной спальне замка под звон восемнадцати колоколов (отец распорядился о двадцати одном, но три звонаря опоздали, будучи, как выяснилось, Скинанди и потому всю ночь безвозмездно принимавшими роды у соседской козы), в конюшне того же замка, тридцатью шагами южнее и двумя часами позже, на свет явилась Жаклин, дочь конюха Батиста, — под аккомпанемент ровно одного колокола, того самого, что созывал к обеду.

Небо, надо думать, располагало свободным временем в тот день ровно на одного Глазилегюра, но, по недосмотру, выдало сразу два экземпляра. Ошибка эта, как и всякая небесная ошибка, была замечена не сразу — а именно шестнадцать лет спустя, когда обе девицы одновременно оказались достаточно взрослыми, чтобы графине пришлось на ум оскорбиться.

Оскорбление, надобно заметить, было тонким, как всё, что оскорбляет Глазилегюра: никто ей ничего дурного не сделал. Жаклин не покушалась на её платья, не пела громче на мессе, никогда бы не посмела, храни Господь, быть красивее — то есть как раз смела, и весьма беззастенчиво, но не нарочно, что оскорбляло вдвое.

— Немыслимо, — говорила графиня своему зеркалу, единственному существу в замке, обязанному соглашаться. — Дочь конюха. Того самого, что чистит стойла. И туда же — Глазилегюр. Как будто это звание, которое можно раздавать направо и налево.

Зеркало, будучи предметом неодушевлённым и оттого свободным от эйгологии, промолчало — единственный собеседник графини, чья позиция по данному вопросу не менялась никогда.

Тут автор считает уместным вставить замечание в сторону: понятие «настоящий Глазилегюр» звучит столь же убедительно, как «настоящий четверг» или «подлинно вторичный дождь». Календарь не спрашивает разрешения повторяться, и небо, судя по всему, тоже. Но графине Дельфине это объяснять было решительно некому — разве что мудрецу, а мудрецов при дворе её отца не водилось со времён последней чумы, ею и унесённых.

Затруднение обрело форму в лице (весьма симпатичном, надобно признать) главного ловчего, состоявшего на службе у отца графини. Звался он Гастон, был крепок, прям, немногословен и обладал тем редким свойством не замечать интриг, даже находясь в их центре, — что делало его, вне всякого сомнения, Могулейгом, человеком без малейшей примеси Тонкого мира в крови, зато с исключительной примесью здравого смысла, каковой при дворе ценился примерно как мешок овса среди бриллиантов: то есть все делали вид, что не нуждаются, но тайно нуждались отчаянно.

Гастон ухаживал за Жаклин. Делал это без затей: приносил ей то зайца, то охапку полевых цветов, то новость о том, что кобыла ожеребилась благополучно, — и Жаклин, вместо того чтобы млеть, как предписывает жанр, азартно расспрашивала его о том, как прошли роды у кобылы, чем приводила Гастона в состояние, которое сам он называл бы, будь он человеком образованным, совершенным счастьем.

Графиня узнала об этом за завтраком — источником послужила горничная, а горничные, как известно, устроены таким образом, чтобы новости достигали ушей быстрее, чем кухня успевает остыть, — и уронила чашку с шоколадом (напиток, только что вошедший в моду, а потому вдвойне обидно потерянный) точнёхонько на новое платье, отчего немедленно сделалось два скандала вместо одного.

— Я, — заявила она, промакивая корсаж салфеткой с таким выражением лица, будто хоронила близкого родственника, — немедленно отправляюсь на охоту.

Ни разу в жизни графиня Дельфина де Курсийон не выказывала интереса к охоте иначе, чем в качестве повода надеть новую амазонку, но нужда, как известно, изобретательнее логики.

Первая нелепая ситуация, из коей графине пришлось выпутываться, случилась уже на подступах к лесу: амазонка, сшитая накануне ночью в спешке (портной был Бьёргунарм и работал быстро, но без тонкостей), оказалась узка ровно настолько, чтобы явить публике не грацию, а акробатику, — графиня взлетела в седло с изяществом мешка с репой и застряла на полпути, зацепившись рукавом за луку.

Гастон, не мудрствуя, попросту снял её с седла, как снимают мешок с той же репой, и водрузил на землю со словами: «Может, лучше пешком, ваше сиятельство? Меньше рискуете».

Это не было комплиментом. Графиня восприняла его как оскорбление номер два.

Вторая нелепая ситуация произошла на самой охоте: желая продемонстрировать бесстрашие, графиня велела своему коню перепрыгнуть канаву, коей конь предпочёл бы объехать стороной, будучи, по всей видимости, единственным разумным существом в этой сцене. Конь объезд всё же совершил — вместе с графиней, которая рассталась с седлом раньше, чем с достоинством, и приземлилась в кустах шиповника, откуда её извлекли всё те же безжалостно практичные руки Гастона, снявшего с её причёски три ветки и одного смущённого воробья.

Жаклин, находившаяся неподалёку — она приехала верхом на смиренной кобыле без всякого умысла блистать, единственно чтобы отвезти обед охотникам, — рассмеялась. Не зло, не торжествующе — просто искренне, тем смехом, который бывает у людей, не подозревающих, что против них уже идёт война.

Графиня Дельфина восприняла этот смех как оскорбление номер три, хотя, по чести говоря, оскорбил её не смех, а собственный шиповник.

Третья, и решающая, нелепость графиня подготовила заранее, вложив в неё все средства своего рассудка. Она наняла живописца — того самого, что писал портрет самой Королевы, хотя, как выяснилось много позже, это был его кузен, писавший портрет собаки Королевы, — и заказала полотно, изображающее её, графиню, в виде простой пастушки: холщовое платье, посох, овечка на коленях, взгляд, исполненный безыскусной прелести. Замысел состоял в том, чтобы явиться перед Гастоном воплощением той самой простоты, которая, по её расчётам, и составляла всё обаяние Жаклин, — только с гербом в углу картины, для верности.

Портрет вышел прекрасен. Единственная трудность заключалась в том, что настоящую овечку графиня согласилась держать на коленях лишь однажды, во время сеанса, — и овечка, не разбираясь в тонкостях аллегории, немедленно выразила своё мнение о происходящем самым естественным для овечки образом, испортив то самое холщовое платье безвозвратно.

Живописцу заплатили вдвое за молчание. Молчание, впрочем, обошлось вдвое дороже портрета и не помогло: к вечеру о нём знал весь замок, включая, разумеется, Жаклин, которая на сей раз не смеялась вовсе — просто сказала конюху-отцу с искренним недоумением: «Батюшка, а отчего её сиятельство так хочет казаться простой? Быть простой ведь вовсе не трудно — надобно просто ею быть».

Батист на это ничего не ответил, ибо, как всякий разумный конюх, знал: объяснять графине очевидное — занятие для человека, лишённого других забот, а у Батиста были лошади.

Автор, обещавший не подводить читателя за руку к разгадке, сдержит слово и здесь: он не станет утверждать, что Жаклин была изысканнее графини. Он лишь напомним факты, а выводы, как заведено в приличном обществе, каждый волен делать сам.

Гастон продолжал носить Жаклин зайцев. Жаклин продолжала расспрашивать про кобылу. А графиня Дельфина де Курсийон, исчерпав себя в вопросе амазонок, портретов и охотничьих канав, заказала себе новое зеркало — прежнее, по её словам, «стало плохо видеть», — и по сей день ищет в нём подтверждения тому, чего зеркала, как известно, никогда не подтверждают: что «настоящий» Глазилегюр в округе всё же один, и это, вне всякого сомнения, она.

Небо на этот счёт хранит молчание. У неба, надо думать, и без того забот довольно — раздавать одинаковый блеск двум разным утрам, никого заранее не предупреждая.

5.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.